

Мария Владимировна Миронова родилась в 1910 году. В 1927-м она закончила Театральный техникум имени Луначарского (будущий ГИТИС). Тогда же стала артисткой МХАТ-2, а в 1931-м ушла в мюзик-холл. Мария Владимировна жила в эпоху Станиславского и Маяковского, Таирова и Вахтангова, Кирова и Берии. Теперь она наша современница. Она играла на той же сцене, что и Михаил Чехов, а ныне мы можем увидеть ее в спектаклях театра Олега Табакова и «Школы современной пьесы». Она пережила всех своих близких: и горячо любимого мужа, замечательного артиста Александра Семеновича Менакера, и сына, Андрея Миронова, — когда речь заходит о нем, на глазах у Марии Владимировны до сих пор закипают слезы. В свои 86 лет она сохранила ясный ум, трезвую память, вкус и волю к жизни — сегодняшние общественные и политические события волнуют ее больше, чем нас, молодых. Ни о своих ролях, ни о своей артистической юности она говорить не захотела — кому это все интересно?

— Что же сегодня, по-вашему, интересно людям, Мария Владимировна?

— По-моему, ничего. Благодаря многолетней и кропотливой работе партии и правительства у соотечественников осталось не много извили. Впрочем, русский народ по самой своей природе... политеса ради скажу, непостижим. Больше нигде в мире нет таких пословиц, как наши «работа не волк, в лес не убежит» или «работа дураков любит». Свобода, которую мы получили, мало что изменила: русскому человеку нужна не свобода, а воля. У воли же есть «естественное» продолжение: беспредел. Нынешний беспредел очень напоминает мне 1917 год. Я помню, как в людей стреляли за не понравившееся лицо, за брововую шапку, помню пальбу в парадных... Печально видеть, что моя жизнь пошла по второму кругу.

— На революции и двадцатых годах очень сильно завязана история моей собственной семьи. Налаженный быт среднеобеспеченных людей: домик в Петергофе, ветчина, запекавшаяся по праздникам, деньги, отложенные на образование детей и их первое заграничное путешествие, царское семейство, гуляющее по аллеям парка... Внезапно все это полетело в тарта-ры — произошла революция. И вот уже по улицам скрипят подводы с торчащими из-под рогов синими ногами. Везут убитых в Кронштадте повстанцев, среди них — брат моей бабушки... После этого прабабушка, женщина глубоко религиозная, изрубила топором иконы, сожгла их во дворе и не молилась больше ни разу в жизни. Но молодость с восторгом ринулась в революцию, надела юнгштурмовки, стала строить новую жизнь.

— Кто ринулся, а кто нет — лично я в сказки о советском рае никогда не верила. Однако то, о чем вы говорите, мне очень понятно: я помню чудесный старый быт, запах око-рока, запекавшегося в праздник, помню отцовский «рено». Несмотря на то, что мой папа был простым служащим, автомобиль был ему по карману. Он был уникальным специалистом: равного ему знатока текстиля в Москве не было.

— Как же вся эта октябрьская кавария отразилась на вашей семье?

— Ужасно. К счастью, у нас никого не убили, и иконы мы не жгли. До этого не дошло бы в любом случае — семья была истово религиозной. Но радости тем не менее было мало. Квартиру уплотнили, подсадили в нее чужих людей и сделали из нашего дома коммуналку. У нас жил человек, называвший себя портным: он ничего не шил, зато постоянно напивался и буйнил. Он не давал нам спать, устроил страшную грязь, развел тараканов и клопов... Когда начался весь этот кошмар, который называли Великим Октябрем, мне шел восьмой год, но я помню все это совершенно отчетливо. Это моя революция — пьяный портной, орущий по ночам срамные частушки, и тараканы, ползущие из под дверей его комнаты.

тись. Через полгода папа вернулся домой — слепой на один глаз...

— Я помню, как при мне, студенте, разговорились два старичка: «Вы помните нэп? Эх, прелестное было время...» И оба просветлели. Это время действительно было прелестным? Ресторанчики, танцы, лихачи... Чем не Москва 96-го года с ночными клубами и таксистами-«леваками»?

— В ресторанчики и на танцульки нам хода не было: во МХАТе-2 актрисам даже пудриться не разрешили, накрашенные губы считались преступлением. Но время, конечно, было веселое... Вы-то сами сумели воспользоваться нынешней передышкой.



Мария МИРОНОВА:

В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕЛЬЗЯ УГАДАТЬ, КОГДА МЫШЕЛОВКА ЗАХЛОПНЕТСЯ

— Каким же ветром вас занесло на сцену?

Я стала актрисой потому, что я ею родилась, а обстоятельства, сопутствовавшие этому, за давностью лет никому неинтересны. А вот то, как мы, нищие студенты, жили и выжили в голодной послереволюционной Москве, действительно любопытно.

Боже мой, как давно это было! Подумать только: я осталась единственная, кто помнит живого Вахтангова. В его кабинете мы с Борисом Васильевичем Шкупиным, только что вернувшимся с гражданской, занимались сценическими этюдами. Секретарем дирекции в техникуме была Надежда Михайловна Вахтангова, жена Евгения Багратионовича, — она и пускала нас туда во время занятий. Мы жили театром, но есть тем не менее хотелось. Денег хронически не хватало, и в поисках хлеба насущного мы со Славиком Пляттом воровали лампочки в подъездах. Я была отличной гимнасткой: забравшись на плечи двухметровому Славе, я вывешивала лампочку — и у нас появлялись деньги на ужин. Мы шли на улицу и покупали изумительно вкусные плюшки у торговцев, появившихся в первые годы нэпа, огромных теток в белоснежных фартуках с нарукавниками. Впрочем, вскоре мы поняли, что этого делать не надо. К тому же нам увеличили стипендию, а папа устроился на работу в Москвошвей.

— Он все-таки сумел приспособиться к новой власти?

— Нет, это новая власть поняла, что без таких, как он, ей будет худо. Отец был дегустатором тканей: с закрытыми глазами, на ощупь, он мог определить цвет любой материи. В конце тридцатых его репрессировали, но оказалось, что на производстве не могут без него обой-

кой, успели повеселиться? Если это так, то вам повезло: в нашей стране нельзя знать заранее, когда дверца мышеловки захлопнется и вместо канкана заиграют «Марш энтузиастов»... Или похоронный.

Между сегодняшним временем и нэпом действительно есть сходство, но и различий здесь не меньше. Нэпманы были не только торговцами, но и производителями: знаменитый меховщик Михайлов, Альтман, изготавливавший вязаные вещи, Ширман, Мильман... То, что они делали, можно было надеть куда угодно: среди импорта, которым сегодня завалена Москва, я не вижу ничего подобного.

— А вы, нищая студентка, могли что-нибудь купить у нэпманов?

— Могла. Я ведь очень рано начала выступать на эстраде.

— В конце концов ради нее вы изменили театру...

— Ни в коем случае! Просто я ушла в другой театр — государственный театр Мюзик-холл. Это был замечательный коллектив. Во главе его стоял чрезвычайно профессиональный режиссер Н. Волконский, в труппе были Тенин, Мартинсон, актеры из недавно закрытого театра Мейерхольда. Мы играли Лабиша, Ильфа и Петрова, Катаева, Тирсо де Молину, пушкинскую «Гавриладию» — причем бес сокращений, в полном объеме...

— Да как же ее можно играть без сокращений? Ведь это же не вполне прилично...

— Это зависит от того, как произносить пушкинскую текст. У меня до сих пор стоит в ушах начало спектакля:

В тиши полей, в дали Ерусалима
Вдали забав и юных волокит
Которых бес для тибели хранит
Красавица, никем еще незрима,
Без прихоти вела спокойно век.
Ее супруг, почтенный человек,

Седой старик, плохой столяр
и плотник,
В селеньи был единственный
работник...

Это, как вы понимаете, о святом Иосифе.

— Мария Владимировна, вы ведь человек религиозный. Вас не смущает подобное кощунство?

— Ну что вам сказать? Я не ханжа, в церковь хожу редко. Разве можно запретить человеку — будь он хоть трижды православным — получать удовольствие от вида стройных женских ножек, картины с обнаженной натурой, хорошей шутки... Во всяком случае, в 1933 году наша «Гаврилада» имела большой успех.

— Представляю себе. Но 1933 год — это уже новые времена...

— И новые нравы. Эпоха переломилась: не чувствовали этого только абсолютно бездушные люди. А все остальные начали бояться, хотя это был еще не тот, заползающий под кожу страх, который придет через несколько лет. Тогда мне казалось, что на НКВД работает полстраны, а в артистическом мире процент донощиков был еще выше.

— И все же в тридцатые годы у художников были особые отношения с властями. Премии, кремлевские концерты, подарки с «царского плеча». Гладкову Сталин подарил квартиру. Хмелеву, как говорят, нашел няньку для детей... Вы ничего подобного на себе не ощущали?

— Я и мой муж, Александр Семенович Менакер, прожили свою жизнь на виду у зрителя, но ни одного правительственного приема или концерта в ней не было. И слава Богу.

— Ваш дом на протяжении нескольких десятилетий был театральной легендой. Говорят, что у вас собирался весь цвет артистического мира тридцатых, сороковых и пятидесятых годов...



— У нас собирались только самые близкие друзья: гениальный Михоэлс и замечательный режиссер Лобанов, многие писатели... Михаил Михайлович Зощенко для эстрады не писал, а нам дал три миниатюры.

— Что за человек был Зощенко?

— Совершенно замечательный.

— Но, как говорят, немного странный...

— Разве что тем, что он был чересчур воспитан. Слово «джентльмен» для меня прежде всего ассоциируется с ним.

— Зощенко был белым офицером и безупречным джентльменом — но лексический слепок безудержного хамства двадцатых годов дал именно он... Как Зощенко отнесся к новой жизни: принимал ее, боялся, ненавидел?

— Жизнь — короткий промежуток, когда мы можем немного подышать перед вечным небытием: ненавидеть ее нельзя. К тому же Зощенко не был чужим в этом времени — во всяком случае, до тех пор, пока его не начали травить.

Вместо Зощенко мог быть любой другой: дело было не в личности, а

в самом факте публичной порки, в процедуре устрояния. Однако Михаила Михайловича эта история сломала. Он бывал у нас и в свои хорошие времена, и в самые дурные, когда был нищ и болен, когда Жданов публично назвал его «подонком». Он был... Нет, не обижен, это неточно. Он был до глубины души, до самого сердца огорчен враждебностью, непониманием, предательством друзей.

Михаил Михайлович исхудал, стал очень маленьким, страшно бедствовал... Я безумно за него переживала, но помочь не могла — он бы мне этого не позволил. Мы не слышали от него слова жалобы, он все носил в себе.

— Тридцатые и сороковые были временем жестокого социального расслоения: уважаемые дачи элиты (в том числе и художественной), «персональные» оклады, привилегии, пайки — и беспросветная, гнусная нищета основной массы народа...

— Я никогда не была на иждивении ни у какого правительства. Я никогда в жизни ничего не просила у власти. У нас с Александром Семеновичем не было никаких книжек-то никогда не было: я завела счет лишь полгода назад, когда Ельцин дал мне правительственную пенсию. Мы проживали все, что зарабатывали, на черный день ничего не откладывали. К чему это, если у нас была семья? Один заболевает и не сможет работать — выручит другой. Мне кажется, что и Андрей тоже ничего не отосил в сберкассу.

— Жить легко, не думая о трудностях, — особый, редкий дар...

— Я всегда была свободна от обременений быта. Всю жизнь у меня была одна шуба: изношу одну — куплю другую. Я никогда не гналась за модой, была скромно одета. После моего 85-летнего юбилея все говорили — «ах, какой на вас туалет!» А на мне было сереб-

ряное пальтишко, которое моя портниха Леночка — земля ей пухом — сшила двадцать лет назад.

— Уж очень серьезная у нас получилась беседа. Под конец не худо бы свести разговор на какую-нибудь смешную тему...

— Все почему-то думают, что в жизни артиста эстрады должно быть много смешного. А мы с Александром Семеновичем никого не смешили: главной темой нашей работы (как, впрочем, и жизни), была семья.

Александр Семенович был очень образованный, глубокий человек — многое из этого он сумел передать Андрюше. Когда Андрюша выходил на сцену, люди начинали улыбаться: они чувствовали, что он несет им добро. А добро всегда было дефицитом в России: на каждые десять лет моей долгой жизни приходится какая-нибудь война. Война четырнадцатого года, гражданская, польская, Халхин-Гол, финская, Отечественная, Венгрия, Чехословакия, Афганистан... Нынче мне восемьдесят шесть — и наша страна снова воюет.

Андрей помогал нашим несчастным людям стать спокойнее и добрее, и они помнят это до сих пор: я никогда не бываю одна на его могиле, мне все еще приходят письма с адресом: «Москва. Матери Андрея Миронова».

— Вы счастливый человек?

— Да, счастливый — потому что у меня была замечательная семья. С Александром Семеновичем мы, ни разу не поссорившись, прожили сорок пять лет, лучшего сына, чем Андрей, не было на свете. В них был весь смысл моей жизни, а когда они ушли, со мной осталась память.

Благодаря ей я и живу.

Беседу вел
Алексей ФИЛИППОВ.

мужское мерзко

14.05.96